

О.Н. Кен

Трагедия соперничающих невозможностей

Треть столетия назад Джеймс Биллингтон призывал выработать новый взгляд на Российскую революцию – "более честный, чем трагичный". Такой взгляд он находит в ироническом, как его представил Рейнхольд Нибур: аналитичное (непатетическое и непредвзятое) сосредоточение на "ясно различимых несоответствиях", которые не являются и простыми случайностями. Например, "первая пролетарская революция" произошла в крестьянской стране (или – икона и топор как опознавательные знаки русской культуры). Биллингтон пояснял: "Ироничный взгляд не подходит ни для тех историков, которые возомнили себя провидцами или судьями, ни для простых комментаторов. Он скорее для смертных иной породы, для тех, кто ощущает себя живущим в окружении тайны и движимым любопытством, возбуждаемым скрытыми и непредвиденными причудами действительности, которые кажутся им более высокими, чем случайности и все же меньшими, чем рок. ...Историк ироничного склада одинаково скептичен как по отношению к возможности тотального обобщения..., так и по отношению к восприятию действительности как всеобщего абсурда..."¹. (Мнение Дж.Биллингтона перекликается с высказываниями Р.Рорти, прозвучавшими двадцатью годами позже. "Ироник", по Рорти, "всегда радикально и беспрестанно сомневается в конечном словаре, которым он пользуется в настоящее время", он признает, что основанный на нем аргумент не может ни подтвердить этих сомнений". Подлинный ироник не признает, что "находится в соприкосновении с силой, отличной от него самого"² – позиция едва ли возможная для исследователя, но соблазнительная для тех, кто черпает в советском прошлом материал для выявления собственного интеллектуального кредо). В то время, когда советский социализм готовился празднованием своего первого пятидесятилетия утвердить бесконечность собственного бытия, ограниченный (нибуровский) иронизм оказался достойным выходом из тисков патетического осуждения/оправдания.

Обстоятельства изменились. В последние дни советского строя Дж. Биллингтон, преодолев колебания, признал происходящее в России частью "всемирной драмы высокого морального

¹ James H. Billington. Six Views of the Russian Revolution, in *World Politics*. Vol. 18, issue 3 (Apr. 1966). P.469-473.

² Р.Рорти. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С.103-104.

порядка"³. Окончание социалистической эры восстановило в правах понятие трагического как ключевого для понимания российской революции и ее последствий. Мартин Малия ("Советская трагедия") Орландо Файджес ("Народная трагедия") вынесли его в заглавия своих книг, Арно Майер откликнулся на него "Фуриями революции". Сова Минервы вылетает ночью, напоминает Малия гегелевскую сентенцию: завершение истории социализма в России позволяет преодолеть сомнения ироника и вынести о ней определенное суждение. Раздумья над советской историей побуждают Майера вспомнить о греко-римских божествах неумолимого мщения, Малию – об эсхиловской "Орестее", в которой насилие рождает насилие до тех пор, пока умножающиеся страдания не искупают поступка, положившего ему начало. Так, говорит А.Майер (следуя в этом двухсотлетней берковской традиции), революция отменила исключительное право государства на вынесение приговора, высвободила неистовство бесчисленных Фурий, которых "наполняло силой взаимное сопротивление противостоящих сил и идей"⁴, она породила все новые витки взаимного отмщения и наказания. Так, и "исходное насилие захвата власти большевиками умножалось множество раз по мере того, как власть постоянным принуждением кроила непослушную российскую реальность по своему лекалу"⁵. Взгляды Майера и Малии, подход которых к пониманию роли идеологии в революционном насилии едва ли не противоположен, совпадают в своей старомодной патетике. Для переживших двадцатый век (и начало двадцатого первого века) утверждение о трагичности цепи насилия звучит почти банально.

Современные социальные науки неодобрительно взирают на попытки ценностного суждения, покушающегося на бесстрастную аналитичность, объективизированность исследования. "Подходить к любой революции, Октябрьской в особенности, с мерками политического крохобора или морализирующего обывателя – то же самое, что пытаться измерять слона ученической линейкой. [...] Насилием пронизана вся человеческая история", – объясняет Владимир Булдаков, автор труда о психопатологии "Красной смуты", в котором концептуальная ясность соединена с широтой познаний⁶. "История пропитана Фуриями, независимо от того, связывают ли они себя с революцией, -продолжает эту мысль Уильям Розенберг. – Взгляд на революционное событие должен быть историзирован. Он должен определяться не фактами насилия, которые неизменно влекут за собой такие события, но порождающими их особыми историческими обстоятельством

³ James H. Billington. Russia's Fever Break, in *Wilson's Quarterly*, Autumn 1991. Vol.15. Issue 4. P.61. Недавно он высказался о русской революции стихами Живаго: "Ты видишь, ход веков подобен притче, И может загореться на ходу". Биллингтон более не определяет этот взгляд Пастернака как соответствующий понятию ироническому (James H. Billington. The West's Stake un Russia's Future, in *Orbis*, Fall 1997, Vol.41, Issue 4, P.551, 554).

⁴ Arno Mayer. *The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolution*. Princeton, NJ, 2000. P.23.

⁵ Martin Malia. *The Soviet Tragedy: A History of Socialim in Russia, 1917-1991*. N.Y. etc., 1994. P.4.

⁶ В.П.Булдаков. *Красная смута: Природа и последствия революционного насилия*. М., 1997. С.5.

ми; мерой, в которой они политически переосмыслены и использованы для иных целей, нежели те, которые они аффективно представляют; смешением структурированных и наложенных на них процессов, которые влияют на их итоговый результат; тем, как их цена и потери соотносятся с теми, которые их вызвали; и в конечном счете, их воздействием на будущее общества". В общем, повествование о революции способно "валоризировать" понесенные утраты, наделив их значимостью в контексте продолжающихся и разнородных усилий, начало которым было положено революцией⁷. Не вкрадывается ли в эти рассуждения знакомая насмешка над неспособностью "филистера" распознать в революционном насилии повивальную бабку прогресса (пресловутую "ученическую линейку" Ленин предлагал вручить морализатору Каутскому, когда немецкий пролетариат определит его "гимназическим учителем")? Или терпение терапевта, не склонного выносить суждения до окончания полного обследования пациента? "От врача естественно ожидать, что он спокойно и хладнокровно установит прогноз и пропишет лечение", от объективности его расчетов "зависит правильность принимаемых решений и дальнейших ход событий. Но историку приходится иметь дело с уже свершившимися событиями, и беспристрастность не облегчает понимания. Более того, она только отдаляет от понимания, ибо как можно холодным умом осмыслить события, которые совершались в пылу страстей?" – настаивает Ричард Пайпс, ссылаясь на авторитеты прошлого⁸.

Впрочем, для сознания Нового времени трагедия состоит прежде всего не в подчиненности индивида надличностному року, предписывающему нескончаемую цепь воздаяний за нарушение естественных установлений, а в пронизывающем человека внутреннем разладе, смертельном разрыве между желаемым и возможным. История социализма в России, утверждает Малия, в полной мере трагична и в этом, поствозрожденческом значении (которое сам он возводит к аристотелевскому пониманию трагедии как злключения добра). В ее основе лежали несравненный замысел, великая надежда – возвысить человечество, вывести его из мрака "предыстории", перенести его "из царства необходимости в царство свободы". На протяжении десятилетий созданный Октябрем социалистический строй удивлял идеологической самотождественностью, преемственностью политических институтов, экономической политики и культурных стереотипов. Ведь "ничего подобного в ходе других революций не наблюдалось" ("Вспомните, – размышлял в 1967 г. Исаак Дойчер, – что представляла собой Англия через 50 лет после казни Карла I. К этому времени английский народ, пережив уже времена Английской революции, Протек-

⁷ William G. Rosenberg. Beheading the Revolution: Arno Mayer's "Furies", in The Journal of Modern History, 73 (Dec.2001), p.929.

⁸ Ричард Пайпс. Россия при большевиках. М., 1997. С.602-603 (первое издание на языке оригинала – 1994 г.).

тората и Реставрации, а также "славную революцию", пытался в период правления Вильгельма и Марии осмыслить богатый опыт бурно прожитых лет, а – еще лучше – забыть все, что было".)⁹ Поступь созданного революцией строя, его иммунитет к попятному историческому движению содержали в себе оправдание понесенных жертв (что хорошо видно на примере четырнадцатитомной "Истории советской России" Э.Х.Карра)¹⁰. При первых же попытках приблизить его к "человеческому фактору" социализм рухнул. Его политические, хозяйственные и социальные институты почти в одночасье превратились "в обломочные россыпи" (М.Малия). Семьдесят с лишним десятилетий "новой цивилизации", как окрестили советский социализм Сидней и Беатрис Веббы, предстали затянувшимся странствием в поисках "места, которого нет".

"Советская трагедия" описывается Мартином Малией как "история социализма в России, 1917-1991 гг.". Отстраняясь от "социальных наук" с характерным для них трактовкой политики и идеологии как репрезентации общественных структур и интересов, Малия исходит из убеждения, что "в мире, созданном Октябрем", первые доминировали над вторыми; судьба общества определялась идеократическим по своей природе режимом, подчинившим развитие страны идее социализма. Поэтому Малия предлагает "возродить тоталитарную перспективу" понимания советского феномена, "но не в статическом, а в историческом и динамическом виде, ибо именно всеохватные претензии советской утопии создали то, что только и можно назвать "генетическим кодом" этой трагедии"¹¹. Идея социализма, наследовавшая Просвещению, была переосмыслена Марксом в рамках гегелевского понимания истории как самообогащающейся диалектики отчуждения (Малия солидарен с подходом Л.Колаковского: "Карл Маркс был германским философом"). Глубинное содержание "интегрального социализма" возлагает роль мессии не на действительных промышленных рабочих, но на пролетариат как символическое обозначение "универсального класса", в котором социальное отчуждение воплотилось с предельной метафизической остротой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в то время, как в Западной Европе марксизм породил социал-демократию, в России он был воспринят в своем глубинном значении всеобщей антитезы (что-то удержало американского историка от того, чтобы напомнить читателю о циничном, но пронизательном замечании Бисмарка: для испытания идеи социализма нужна страна, которую не жалко). Именно это метафизическое понимание было усвоено больше-

⁹ И.Дойчер. Незавершенная революция. Россия: 1917-1967. М., 1991. С.162. Возвращение к этой мысли см.: Mark Sandle. A Short History of Soviet Socialism. L., 1999. P.431.

¹⁰ Один из критиков Карра предрекал, что как только коммунистический режим смягчится, его работы станут в СССР официальными учебными пособиями. Будь развал советской системы не столь стремителен, вышедшая в 1990 г. в Москве "Русская революция от Ленина до Сталина" Э.Х.Карра действительно могла претендовать на эту роль.

¹¹ М. Malia. Op. cit. P.16.

визмом; диалектичность марксизма позволяла без труда отодвигать в сторону конкретные стороны этого учения, которые никак не сочетались с российской эмпирикой. Аморфность российского общества, слабость самостоятельных гражданских структур придали революции 1917 г. и последовавшей гражданской войне необычайно разрушительный характер. Их следствием явилась распад общественных связей, "беспрецедентная социальная пустота", ставшая естественным отправным пунктом для созидания социализма как полной противоположности всем до сих пор существовавшим типам жизнеустройства. Этот тезис М.Малии близок общепринятым мнениям, чего нельзя сказать о его утверждении: "И они построили социализм!". Моральная идея социалистического проекта состояла в достижении "полноты человеческого равенства", для чего требовалось уничтожить частную собственность и рынок и, следовательно, заменить гражданское общество огосударствлением всех сторон жизни. Осуществление этой инструментальной программы в свою очередь порождало необходимость во всевластии Партии и направляемой ею институционализированном насилии. Поэтому напрасно ссылаться на отличия его реальных форм от идеальной модели и тем самым отказывать советской системе в праве называться социализмом (на чем, например, с удивительным упорством продолжает настаивать Моше Левин ¹².) Ничем иным осуществление социалистического проекта оказаться и не могло: "не существует такой вещи как социализм, и Советский Союз построил его". "Если в конце концов коммунизм рухнул как карточный домик, то потому, что он всегда был карточным домиком"¹³. Суть этой трагедии в трех актах ("Маркс", "Ленин", "Сталин", все остальное – скорее затянутый эпилог), подводит итог Мартин Малия, не слишком сложна: "Социализм был задуман как *sumtum bonnum* эгалитарной демократии, советский опыт его осуществления породил самый последовательный и устойчивый из современных тоталитаризмов. Более того, его заявления о своих человеколюбивых намерениях на протяжении десятилетий затемняли его действительную природу в глазах большинства людей. Советское извращение демократического блага приобрело, следовательно, высшую по своей жестокости форму дегуманизации человека во имя последующей гуманизации человечества"¹⁴.

Концепция "советской трагедии" как "истории социализма" во многих отношениях уязвима. В изложении Малии "взгляд снизу", реконструкции которого посвятила свои усилия "ре-визионистская историография" 70-80-х гг., отринут с нарочитой полемической уверенностью, и социальная ткань предстает канвой, по которой вышивает свои узоры политическая идея. Сама

¹² Moshe Lewin. La Russie face à son passé soviétique, *Le monde diplomatique*. Dec.2001. P.8-9.

¹³ M. Malia. Op. cit. P.496.

¹⁴ Ibid. P.502-503.

идея социализма утрачивает свою многовековую культурную укорененность, а проблема ее соотносимости с российским культурным наследием и типом мышления попросту исчезает. Отмечая, сходство России советской со старой Россией, Малия не признает за ним статуса преемственности и тем более причинности, поскольку "монохромной картине" "восточного деспотизма" "недостает эмпирически удостоверенного присутствия агента трансмиссии, которое бы привело нас от Ивана и Петра к Ленину и Сталину"¹⁵. Этот упрек метит в Р.Пайпса и его понимание советской политической истории как "прививки марксистской идеологии к неувядающему древу вотчинной ментальности"¹⁶. Между тем, наряду с наивно-реалистическими и даже натянутыми объяснениями ("многие советские административные посты занимали бывшие царские чиновники") Пайпс представил аргументированный ответ на вопрос об "агенте трансмиссии" и ее механизме. Таким агентом была культура, а механизмом – непрерывность социальной практики: "Те же люди, живущие на той же территории, говорящие на том же самом языке, наследники общего прошлого, едва ли могли превратиться в других существ исключительно благодаря смене правительств"¹⁷. Невозможно представить себе, чтобы это соображение не приходило в голову Мартину Малии, и если он склонен игнорировать его, то скорее в силу глубочайшей (и, согласимся, -оправданной) антипатии к западным версиям революционного социализма, согласно которым хороший социализм стал жертвой российской азиатчины. Отказываясь сопрягать социокультурные особенности России и интегральный социализм, Малия по сути освобождает ее от исторической ответственности за "социалистический выбор". Но там где нет ответственности, нет и субъекта, и, следовательно, невозможна трагедия. Напряженное сочетание понятий "советская трагедия" и "история социализма в России" парадоксальным образом грозит преобразоваться в привычную самодовольную пару: "трагедия социализма в России" и "советская история" – результат, противоположный тому, к которому стремился автор.

Другой парадокс этой дискуссии состоит в том, что оппоненту Малии Ричарду Пайпсу совершенно чуждо представление о "советской трагедии". Анализируя обстоятельства культурно-исторического характера, приведшие к революции, он заранее дезавуирует связанные с нею надежды. "Национальную трагедию" Пайпса усматривает не в развитии революции, а в падении

¹⁵ M.Malia. Soviet Tragedy. P.52-53. Лишь единожды Малия позволяет себе заметить, что "генеральная линия" (образа 1929 г.) "подсознательно черпала из вестернизаторской традиции русской культуры" (P.188). Как хорошо известно (хотя бы из тогдашних речей Сталина), делалось это вполне сознательно.

¹⁶ Р.Пайпс. Указ. соч. С.592.

¹⁷ Там же. С.594. Интересное объяснение того, как трансформации 1917 г. обеспечивали преемственность от старого государственного дирижизма к вездесущему государству большевистской России см.: Уильям Г.Розенберг. Создание нового государства в 1917 г.: представления и действительность // В.Ю.Черняев (отв.ред.). Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. С.76-97.

Старого режима (предшествовавшее, по Пайпсу, социальной революции в России). У российской трагедии есть причины ("которые уходят глубоко в прошлое страны"), но сама она укладывается в один акт. "Очевидное вырождение русской революции не должно вызывать удивления", полагает Пайпс, а "большевиков следует рассматривать вовсе не как утопистов, а как фанатиков"¹⁸. Оценка способности человека к автономному социальному действию принадлежит к числу вопросов, спорить о которых едва ли полезно; в данном случае важно, что пессимизм Пайпса, делающий понятие трагического излишним применительно к революционной и постреволюционной истории, разделяют выдающиеся российские исследователи. Так, В.П.Булдаков усматривает в февральских массовых выступлениях, приведших к падению царизма, "подобие общей социальной истерии". Демократическому сознанию "попросту неоткуда была взяться". Историк кровавой смуты "остаётся только ужасаться тому, до каких глубинных оснований оказалась покорёженной психика народа" (и сожалеть, что новые власти отменили смертную казнь для "наиболее активных особей")¹⁹. В отличие от иронии, ужас и презрение – сильные чувства, но не они способны вызвать катарсис.

Соблазны многообразного редуционизма стремился преодолеть в своей 900-страничной истории революции британский историк Орландо Файджес. Его "Народная трагедия" многомерна: ее действующие лица – аморфные сообщества и незаурядные личности (будь то первый глава Временного правительства князь Львов или рядовой комиссар Оськин), "общественные силы", корпоративные группы, партии и толпы. Массовая психология (и психопатология) соединяется с политическими концепциями, благородные ошибки с циничными расчетами. Хаос не отменяет идеалов, поражение – надежд. Файджес сочувствует и не оправдывает. "Революционная трагедия людей была в большей мере порождена наследием их собственной культурной отсталости, нежели злом, исходящим от "чуждых" большевиков. Они были не жертвами революции, но исполнителями главных ролей в собственной трагедии", "большевизм был очень русской вещью"²⁰. Художественные достоинства повествования и профессиональная эрудиция Файджеса переходят в недостаток аналитичности и определенности выводов. В его изображении российская революция плохо вписывается в мировую драму, она едва сопряжена со европейскими трансформациями начала XX века и с Великой войной, без которых невозможно осмыслить ни существа пресловутой "отсталости" России, ни неповторимости российской революционной динамики, ни легитимации коммунистического режима как спасителя России и че-

¹⁸ Р.Пайпс. Указ. соч. С. 586, 591, 599.

¹⁹ В.П.Булдаков. Указ. соч. С.55-56, 62, 65.

ловечества. Народная трагедия оказывается велика, но по своей природе локальна. Лишь в заключение Файджес затрагивает "фундаментальную проблему" о взаимосвязи социалистической идеи и судьбы России в XX веке – и разрешает ее на основании классического "common sense": "поскольку советская модель так часто приводила к катастрофическим результатам – несмотря на ее применение в различных местных формах и таких непохожих местах как Китай, Юго-Восточная Азия, Черная Африка и Куба – можно лишь заключить, что ее основная проблема более относится к принципам, чем к обстоятельствам" (Р.823). Разумеется, для преподнесения этой банальности предыдущие 822 страницы совершенно излишни, и если Файджес может с такой легкостью отделаться от поставленной проблемы, то потому, что в его изображении обстоятельства российского пути настолько сильны, что превосходят своей исторической повелительностью любые идеи и принципы. Файджес не устает обращать внимание читателя на разветвления этого исторического пути (в том числе и на такие, о которых нечасто вспоминают, – например, возможность замены Ленина Каменевым в качестве главы советского правительства в конце 1917 г.), но осуществимость альтернативного выбора выглядит в его изложении довольно зыбко. Плоти́на бюрократического самодержавия прорвана, неудержимый поток устремлен в уже проложенное русло, расширяет его, но неспособен свернуть ни влево, ни вправо. Современная трагедия обнаруживает тяготение к античному прототипу – герои Файджеса вряд могли, при данных обстоятельствах, чувствовать, думать и поступать иначе, чем это было в действительности, оказывающейся сродни року. (Это делает понятным, почему треть своего рассказа Орlando Файджес отводит предреволюционным десятилетиям.)

Было бы упрощением, как это делает Ричард Пайпс в своей критике книги Файджеса, объяснять ее недостатки молодостью автора, "слишком рано попытавшегося совершить слишком многое"²¹. Повествование Файджеса вновь (и, отдадим должное автору, – действительно по-новому) заставляет задуматься о том, как, сохранив широту взгляда, удержаться от соскальзывания к эклектичности; как интегрировать в историческом повествовании внимание к личности с определенностью социального анализа, использованием его концептуальных средств; как примирить приверженность либеральным ценностям с позитивным, объемным описанием общества, которое их не приемлет; как понять историю одной страны, если по своему манифестированному и очевидному смыслу, эта история заведомо превосходит самое себя и любое ее толкование содержит глобальное видение.

²⁰ Orlando Figes. *A People's Tragedy: The Russian Revolution. 1891-1924*. N.Y., 1998 (первое издание – 1996). P.808, 812.

²¹ Richard Pipes. *Black Bread*, in *New Republic*, 1997, vol. 216, issue 13, p.41.

Осуществим ли такой синтез? И способно ли понятие трагического вместить его? Один из возможных ответов мы встречаем в недавней работе американского историка Уильяма Розенберга, чья социологическая трезвость и точность суждений, казалось бы, отдаляют автора от широких обобщений подобных затронутым выше. Осмысливая (во введении к словарю российских трансформаций 1914-1921 гг.) различающиеся интерпретации тогдашних событий, действующих лиц, институтов, социальных групп, экономических, национальных и религиозных проблем и противоречий, У.Розенберг обозначил их целостность как "трагедию соревнующихся невозможностей". В приходе большевиков к власти обозначилась "огромная трудность народного правления в условиях глубокого социо-культурного и хозяйственного разложения"; настоятельность "быстрого удовлетворения народных нужд и интересов в обществе со сравнительно слабыми гражданскими, правовыми и демократическими политическими традициями властно склоняла к авторитаризму в той или иной форме". Неудач многообразных социальных движений, групп и политических деятелей не может быть сведен к одному-единственному каузальному объяснению. "Даже синод святых признал бы, что эта сцена создана для трагедии, соревнующиеся между собой устремления и потребности озлобленных, надеющихся и все больше отчаивающихся людей невозможно примирить без насилия"²².

Это очень емкое объяснение, но оно не исчерпывает предложенной автором идеи "соревнующихся невозможностей". Она основана на понимании, что ни один из вариантов, которые предлагались борющимися силами, вынашивались обывателем, отстаивались крестьянином или которые неосознанно формировались вследствие их взаимодействия, ни один из возможных исходов российского кризиса – будь то авторитарная диктатура традиционного толка (с добавлением тех или иных западных ингредиентов или без них), конституционно-либеральный строй (с элементами "управляемой демократии" или социального патернализма) или любая из версий чистого социализма – был невозможен. Ни один из них не мог быть и не был осуществлен, чаяемая и пугавшая революция обернулась всеобщим поражением. Но, в силу той же логики, невозможность каждого означает осуществимость всех: историческая жизнь России продолжилась. Условием такой осуществимости мог быть лишь отказ от собственных оснований либо, по меньшей мере, внутренняя трансформация, готовность обратиться в материал для неведомого сплава. В таком понимании присутствуют все мыслимые формы трагического (и потому оно не требует внешних символических обозначений наподобие "Фурий" Арно Майера). С другой стороны, подход, вытекающий из мысли Розенберга, способен объять самые разные типы объ-

²² William G. Rosenberg. Interpreting Revolutionary Russia, in Edward Acton, Vladimir Iu. Cherniaev and William

яснений (в этом смысле он неожиданно «ироничен»). Признав "осуществленность всего", мы с большим пониманием сможем отнестись к жизнеспособности основных парадигм, в рамках которых уже более полувека происходит осмысление российского кризиса, революции, советского прошлого, – "тоталитарной школы" или "социальной истории", концепций "преданной революции" или "красной смуты". Быть может, в рамках этого подхода может найти адекватное, концептуально ясное, воплощение очевидная на интуитивном уровне взаимодополняемость трактовок русской революции Н.Бердяева и Л.Троцкого, М.Малии и Р.Пайпса, а признание поливариантности и даже альтернативности ее развития – органично совместиться с детерминизмом *post factum*. В такой перспективе оценка советского опыта как "зеркала, в котором различные элементы *modernity*, которую мы видим вне пределов СССР, поочередно представлены в неразвитых, преувеличенных и знакомых формах" (С.Коткин)²³ вовсе не опровергает аргументации в пользу того, что функциональным итогом Октября являлось воссоздание "империи реликтового типа" (В.Булдаков). Концепт единства соперничающих (и осуществившихся) невозможностей обещает примирить логически неразрешимые противоречия между цельностью и одновременно гетерогенностью советского режима, самоидентичностью и эволюцией социалистического строя, его насильственной бесчеловечной природой и складыванием социального консенсуса, который обеспечил ему завидное долголетие. Надменная самодостаточность нового социального порядка и его преемственность по отношению к старой России предстают в этом случае не столько загадкой, сколько естественным поведением монополиста, овладевшего собственностью разоренных им конкурентов. Но люди не вещи, происхождение советского социализма из "трагедии соперничающих невозможностей" объясняет невозможность бесконечного удержания поглощенных им, но неистребимых способностей к порождению иного.

Позволяет ли формула У. Розенберга понять сегодняшнюю, вновь притихшую Россию? Реет государственный триколор, звучит "Гимн партии большевиков".

G.Rosenberg. *Critical Companion to the Russian Revolution 1914-1921*. L. etc., 1997. P.30-32.

²³ Stephen Kotkin. 1991 and the Russian Revolution: Sources, Conceptual Categories, Analytical Frameworks, in *The Journal of Modern History*, 70 (June 1998), P.387. Подробнее см.: Stephen Kotkin. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. L.A. etc., 1995.